

Приземистый румяный парень идет пешком, иногда оглядывается — позади, скрывшись за посадками, остался семеновский поворот...

Попуток не то чтобы нет — едут, но Саню никто не берет. У своих, у новопокровских, видать, все запасено, — по домам сидят, никто под утро на рынок в Балашов не поехал — некому теперь, к полудню, и возвращаться. Изредка прут мимо транзитные рабочие лошадки: в основном, вазовские «четверки» да «нивы» — легко долетев по гладкой бетонной трассе из райцентра до Семеновки, сворачивают сюда, на разбитую дорогу, и, теряя скорость, ползут дальше через Новопокровку в Аркадак. С прицепами и без, груженые — битком народу и скарба — крестьянские легковушки эти с хрустом давят колесами мелкий щебень в дорожных ямах. Народ — чужой, не покровский, — бросает равнодушные взгляды из задних стекол: для пассажиров Саня, одетый в мешковатый, явно с чужого плеча, спортивный костюм, — лишь часть унылого степного пейзажа. Всю его солдатскую форму-парадку, фуражку да шинель с пустыми зелеными погонами — ефрейторскую «соплю» рядовой Сашка не выслужил пока ни по сроку, ни по выучке, рано ему еще, — уже либо

носят, либо заглажи на баракхолке из поездки. Не до рвения было Сашке — тяжело тянулись первые армейские полгода и плохо для него закончились.

Время от времени солдат, слышав позади машину, на ходу «голоует» — поднимает руку, держит ее вытянутой, пока транспорт с ним не поравняется, не прокатит мимо, — и потом беззвучно матерится вслед.

Проезжают и порожняком, но не тормозят — наоборот, норовят втопить хлеще... Вахлак ведь, штаны гармошкой, рукава свисают — что он заплатит за извоз?! Сам дотопает!

Щелкают камни по дну очередной «тачки» — стук глухой, железный, как в ржавую пустоту...

Солдат, а по виду уже и не скажешь, солдат ли, идет, тащит на плече сумку килограммов на пятнадцать и смотрит окрест. Впитавшие влагу поля размахнулись вширь, вкось, то квадратами, а то в линейку, щетинятся прелой прошлогодней стерней; снеговые лужи, что в низинах, играют с небом в переглядки. Дома начался апрель. Наверно, март здесь был теплым, раз сугробы уже растопило. А в Алакуртти, где Сашкина войсковая пограничная часть, — пока зима. Там — местами тайга, а местами лесотундра с сопками, здесь — степь. По крайней мере, была когда-то. «Сельскохозяйственные угодья» — так определили Балашовскую природную зону в школьном географическом атласе для седьмого класса. Этим все сказано. Кабы сейчас стародавние времена, — быть бы тут дикой глади до горизонта, а ныне все посадками разгорожено, не дают посадки прозреть даль до конца, застыт сиреневыми, в дымке, полосами. В восьмом Сашка уже не учился — не перевели за неуспеваемость, позорно оставив его на второй год, и школу бросил, пошел подпаском к деду.

Снова ревет позади мотор, сначала еле слышно, затем наполняет простор тяжким грузовым гулом, лязганьем, скрипом — едет бортовой «зил». Просигналил шофер весело и, не глуша двигатель, остановил технику. Дрожит латаная кабина, от капота, под которым чихает и фыркает карбюратор, веет теплом и едким машинным маслом.

— Докуда тебе? — из кабины пытается перекричать движок парень-шустряга. Одна рука на баранке, другой дверцу открытую придерживает. — Сашка, ты, что ль? Не угадал сперва. Смотрю, сумка человеку плечо оттягивает — надо пособить, подвезти.

Водилу Серегой зовут. Мещеряков он, из старого центра — это по ту сторону реки, через мост. Село Новопокровское большое, на тысячу дворов, раскидистое. Есть центры: и старый, и новый, есть и Самодуровские выселки, и Шанхайский дальний плант. Сашка — Сажин, а Сажины с Мещеряковыми не знают — это года четыре как повелось. И с Серегой они так, видятся иногда по случаю, все друг про друга от соседей знают, но сами не дружат. Из всех Мещеряковых только с Веркой, Серegiной сеструхой, встречалась Сашка несколько раз тайком от всех, — вроде, любовь у них сложилась.

— Залазь, Санек, ты на побывку уже или как? Быстро ты...

— Отпуск дали. Десять суток — нарушителя задержал. Медаль обещаю, — сопя и громоздясь с подножки в кабину, озвучивает рядовой заготовленную легенду.

Дважды хлопает дверцей, и все никак — не «зил», а старая колымага! Вроде получилось — щелкнул дверной замок. Примостил на коленях сумку — теперь поехали!

Кабина маловата, трясет в ней, цветная стекляшка на длинной руко-

яти худому ходит, Серега то и дело хватается за стекляшку громадной смуглой ладонью — переключает скорости, с силой вправляя рычаг, — и мотор начинает реветь в другом тоне, и тряска на время прекращается. Еще в кабине иконки, переводные картинки с девушками и на зеркале болтается плетеный чертик — это у шоферов завсегда... В Сереге есть маленько цыганской крови — дед его, Гаврил, еще подростком, в гражданскую, от табора отбился, осел. Теперь уже старый-престарый, а до сих пор серьгу в ухе носит. Хотел и внуку в детстве ухо проколоть, да русская родня не дала.

— А не врешь про нарушителя? Или, может, ты того? В самоход? А-га-га-га, — ржет водила. — Костюмчик не велик? Че не по форме в отпуск-то?

«Верит, не верит — наплевать... Какое ему дело вообще?»

Саня не успел добраться до Покровки — а уже вопросы-допросы... Да-а, в селе его сразу раскусят, завтра уже все будут знать, что Сашка Сажин, которого и полгода не прошло с того дня, как проводили в армию, вернулся. В тренировочном костюмчике с чужого плеча и без документов. И зачем он сюда поперся? Ведь уже, поди, с собаками ищут. Или в розыск объявили. А куда еще переться-то...

— Дружок твой Васька Мутный учудил тут на Новый год, слышал? — злорадно докладывает водитель.

— Откуда мне слышать-то?

— Ну, может, мать писала...

— Про Мутного бы не написала. Не любит она его. Что учудил?

— Собачонку убил, говорят, терещенковскую... Да съел с голодухи.

— Говорят... — вздыхает Сашка. — Все говорят да говорят, языки не отсохли еще?

Жалко ему приятеля Васю.

— Просто так обвинять не станут...

— Еще как станут, — со знанием дела возражает Сашка. — Небось поколотить уже успели?

— Не без этого. Рома постарался — Мутный неделю в лежку лежал. Жалко собаку.

— А человека не жалко?

— Мутного твоего? А чего его жалеть-то. Никому от него никакой пользы... А в сумке что везешь? — любопытствует Сергей.

Сашка морщится, представляя деревенский самосуд над Васькой.

— Картошка в сумке. Тормозни-ка здесь!

Здесь, потому что на полпути от семеновского поворота до Покровки — развилка: от грейдера, как от ствола, молодым побегом отходит петлястая дорога до Муромки, — а там живет старый Андрей Петрович Сажин. Андрей Петрович — пастух и Сашкин родной дед. Помоложе Серегиного деда Гаврила, но повидал поболее — пока Гаврил за конокрадство сидел, Андрей Петрович воевал.

— Чего остановились? — Серега бьет ногой по тормозам.

— До деда довезешь? До Муромки?

— Не-е, — отмахивается Мещеряков. — Засядет «зилек», грязюка же, — дороги, считай, нет, теперь жди, когда просохнет. Даже трактор на той неделе не прошел. А чего сразу не к матери-то — не в Покровку?

Стыдно Сашке к матери идти. И страшно в центре села светиться — сельсовет рядом, участковый Петрунин, может, уже в родительском доме засаду устроил на дезертира-самовольщика...

— Соскучился по деду. Ну, тогда благодарю. Пешком пойду.

— Ага, поплывешь... Удачи, — ухмыльнувшись, благословляет Серега.

— Привет тебе от родни, — усмехается в ответ Сажин.

— Это от какой еще?

— От цыган, — хохочет Сашка.

Видел бы кто в этот момент Серегину морду!

— В поезде до Саратова в одном вагоне с цыганским табором ехал.

— Да ну тебя, — сердится водитель. — Не зря дураком полоумным считают.

Сажин толкает плечом дверцу: что за напасть — то не захлопнуть было, а теперь не откроешь. Темная шоферская ладонь помогает — пара легких тычков по железу — и Сашка с сумкой вываливается в сырую степь.

Пять километров грунта, влажного, изрытого, — в тракторных колесах стыннут лужи. То скользят, то клеются к черной земле подошвы армейских парадных ботинок. Как он в них до сих пор не «спалился»...

Костюм, что на Саньке, на самом деле — лейтенанта Рудакова. Ему, этому юному московскому лейтехе какой приказ поставили? — смотреть в оба за рядовым Сажиним, и доставить из Москвы, из центрального погранцовского госпиталя, обратно в заполярную часть, что под Кандалакшей. А Рудаков что? Бродил по поезду, искал доступных девок. А потом напился в соседнем вагоне с подвернувшейся теплой компанией, напачкал в тамбуре и, не доехав даже до Питера, бросил китель на пол и заполз на свою полку спать. Хорошо, что Сашка кошелек догадался вытащить из лейтехиного кармана, а то кто другой бы постарался — как пить дать.

На пути к Муромке встретился вышедший из берегов пруд. Тем летом они с Мутным здесь карасей ловили на тесто с ватой. По ведру, бывало наловят, с ладонь величиной, аж оранжевых, как желток, — и в Покровку, продавать по дворам. Красный карась в цене.

Наконец, Сашка выходит к деревне, к жилью: дом, когда-то обшитый железом и выкрашенный салатной краской, теперь от ржавчины стал красно-бурым, лишь под самой кровлей остались пятна выцветшей зелени. Постройка просела, выше окон заросла коричневым после снега бурьяном и пока еще голыми прутьями малины. Вымерзшие за зиму будыля дуры-травы не дали полностью развалиться и упасть палисадному забору — сейчас его разномастные доски, которые хозяйка собирала где придется, прилатывала проволокой, защищая свои грядки от соседских кур, уже сгнили и висели лишь на жухлых стеблях сорняка. Не было ни кур, ни соседей — вместе с живностью деревенские подались в Покровку. И хозяйки, Сашкиной бабки, уже лет десять как не было...

Сажины вообще-то муромские. Но Андрей Петрович своего сына Игната, Сашкиного отца, в конце шестидесятых отдал учиться на электрика, потом женил и купил молодой семье домишко в Покровке, в новом центре — поближе к людям и сельсовету. А сам с Сашкиной бабкой остался в Муромке.

— Де-ед! — кричит Сашка и, не слыша ничего в ответ, поднимается по порожку к двери, которая почему-то полуоткрыта.

— Де-ед, — стуча на всякий случай в дверь, повторяет свой клич Сашка и заходит в темные холодные сени. Здесь пахнет подгнившей соломой от старого тюфяка на диване — не иначе как накапало с прохудившейся крыши, когда таял снег.

— О-у, кого там нечистый принес? — наконец, доносится из избы.

Плохо слышно через сукно с ватой, которым обита внутренняя дверь. Дед выходит, подслеповато щурясь, в валенках и вязаном жилете — еще Сашкина бабка вязала. Исхудал, зоб зарос белой щетиной. Подхрамывает, держится за коленку.

— Привет, дед! Жив?

— Здорово, Сашка! А что, не видно? — отвечает Андрей Петрович. — В ноги вот только вступило, третий день из дома носа не сую. Тут у нас разнополье было — не приведи господи! А я что ж — жрать охота, а идти не могу. По бывку, Саш? Как там в армии?

Ехидно как-то дед спрашивает, будто уже знает все.

— Плохо, дед. Рыба клюет уже? — переводит Сашка на другую тему.

— Не-а... Но, говорят, щурята в речке — руками лови! Сеть бы поставить, а я вот... обезножил. Наладил бы ты моторолик свой, сvez бы меня... Если успеешь...

— Поглядим, может, налажу... — тихо говорит Сашка, думая с тревогой о дедовых словах.

«Если успеешь» — как это понимать?

— Чего грустный-то, а, солдат? Ну-ка, сколько времени? Где часы-то? Нету уже дедова подарка?

Андрей Петрович качает головой — изогнулись укоризной седые брови.

— Ла-адно, пойдем в тепло, расскажешь... Разуйся сперва, комнатны тапки — на вот тебе... А то, поди, отвык уже разуваться, а? Все в сапогах...

Земля напиталась — чуть копни, взрежь лопатой, и, как спяхтанное масло, залоснится, налипнет на инструмент тяжелым гнетом. И будешь трясти, стучать совком — а никак не сбросишь жирный пласт. И обувку до конца не отчистишь, пока не высохнет досуха, не обстучится с подошвы, не отвалится сам печатными комьями саратовский чернозем.

Ботинки отчищал долго, — другой обуви нет с собой у Сашки. И у деда в доме не нашлось. Тапки только.

— Тебе не наливаю, — голос Андрея Петровича раздается глухо, но вместе с тем как бы и проскальзывают в нем нервные звонкие нотки. — Потому что ходишь ты по бедам! Иль я не прав?

Последний вопрос дед задает почти выкриком, и Сашка, вздрагивая, решает не врать, не изворачиваться, как это бывало раньше, когда его прижучивали по какому-либо поводу. Отвечает виновато:

— Прав. Сбежал я.

— А я знаю, — дребезжит дедов голос. — Костя Петрунин приходил уже. Мотоцикл свой оставил на грейдере и сюда пять километров грязь месил. Ищут тебя как дезертира и вора. Деньги все уже профукал, которые у лейтенанта украл? Костюм на тебе — его?

— Его, — соглашается Сашка.

— Зачем? — голос Андрея Петровича становится тверд и суров. — Посадят теперь. Э-эх... Тьфу, сглазили нас всех, навел кто-то — или Гаврил, колдун чертов, или Терещенко...

— Да не навел никто, сказки все это... — обрывает старика Сашка.

— Игнат в тюрьме сгинул, теперь ты туда же торопишься, по отцовским стопам... — ворчит дед, морщась и откашливаясь после стопки. — Кнута тебе надо хорошего, кнута...

Роман Павлович Терещенко, на которого в разговоре с внуком напрасно грешил дед Андрей, жил в Самодуровке и происходил из старинного рода соляных возчиков, которых императрица Екатерина Великая перевела из Полтавщины и расселила по всему Борисоглебскому тракту в восемнадцатом веке. Значение свое этот торговый путь, связывавший саратовские соляные озера с Тамбовом, а от Тамбова — дальше с Рязанью и Москвой, к середине девятнадцатого века потерял, и возчики, уже крепко пустив в благодатный чернозем корни, окрестянившись, влились в местный обиход тысячей звучных украинских фамилий. Войны двадцатого века и советская власть всколыхнули старинный уклад, перемешали села и народы, и получилось уже к шестидесятым-семидесятым годам, что русские, украинцы и мордва-мокша родство изначальное, — может, оно и к лучшему, — забыли начисто и жили бок о бок новой исторической общностью. Так, Игнат Сажин, дальний потомок бесфамильной коренной мордвы, что обитала по реке Елани еще с допетровских времен, и Роман Терещенко, чьих полтавских предков поселила здесь когда-то императрица-немка, оказались хозяевами домов в пятистах метрах друг от друга: один жил в центре, а второй — в Самодуровке, а это перейти по мосту через речку и шлепать вдоль сараек по прямой до конца.

Село Покровское со всеми выселками — сначала центр волостной, при Сталине — уже районный, а при кукурузнике Никитке — просто Покровка, — всегда соседствовало с деревней Муромкой и, как Земля Луну, издревле не выпускало ее из своего поля тяготения.

И если к началу семидесятых годов Роман работал пастухом в головном покровском совхозе, то Андрей Петрович, женив своего сына Игната и отправив его жить и трудиться в центр села электриком в совхозную дирекцию, сам пас небольшое стадо в маленьком муромском отделении этого же крупного, раскинувшегося на всю бывшую волость предприятия.

В Муромке среди вишневых зарослей и малинников возвышались шиферными крышами три десятка домов, а приусадебные сады плодоносили множеством сортов яблок — от ранней московской грушовки в самом начале июля до пепин-шафрана и антоновских — ближе к ноябрю. С маленьким своим стадом, едва начинался пастбищный сезон, старик Андрей совладал отлично. Центровой бычок его слушался на раз; а потом, в восьмидесятые годы, деревня была признана экономически неперспективной, совхозных коров перегнали отсюда в покровские стойла и два разновеликих поголовья объединили в одно. Пастухи делили единственную ставку и ругались из-за денег, пока Андрей Петрович, плюнув, не ушел на пенсию. А подрастающий Сашка, ходивший до этого в подпасах у обоих, продолжал помогать Роману Палычу. Без многоопытного деда Андрея, без его умелого «пристрелянного» кнута стадные быки нервничали и однажды крупно не поладили из-за красивой пестрой телушки. На собак не обращали внимания, бича уже не слушались, и в злополучный день Сашка по недосмотру Терещенко оказался на траектории схватки. Пока не подросли собаки, разъярившийся покровский производитель поднял юного подпаса на рога — хотя, возможно, этим спас его от копыт агрессивного муромского трехлетка. Парнишка — ничего, отделался трещиной ребра и ссадинами, но перетрухнул сильно, даже поначалу немного зайкался. И к рогатому скоту с тех пор затаил пугливую неприязнь. А Сашкина родня невзлюбила Терещенко.

Как-то раз вышло, что во время одного из больших праздников с пьянками и танцами всплывший Игнат уговорился с кем-то из мужиков проучить Ромку за грубое слово. Встретили жертву за мостом через Елань, сильно избили, а когда из ближнего к мосту дома выбежала Верка Мещерякова, девчужка молоденькая, по ту пору лет пятнадцати, — стала кричать и разошедшихся драчунов растаскивать, Игнат, не видя, ударил ее тяжелой ладонью наотмашь — оказалось, что вроде как выбил девушке зубы. Сам он, охладившись и прохмелев, того, что натворил, не помнил. Но нашлись всему свидетели. Игнат не отрицал ничего, но особо и не винился — дескать, вышло так, и все. Был суд, приговоривший его к четырем годам. Мещеряковы, — и особо наглед Веркин брательник Серега, совхозный шофер, — требовали с Сажиных денег, а старый Гаврил на суде кричал:

— А может, Игнат с дружками внучку мою насильничать хотели? Кто знает...

— Как это насильничать? — возмущалась Сашкина мать Клавка. — Ты чего городишь-то, старый дурень!

— А что? — щерился Гаврил.

— Надо было раньше с версиями, пока следствие шло, — отреагировал прокурор, а судья и вовсе счел Гаврилову выходку цыганским спектаклем, на суть и приговор не влияющим. Тише всех на заседании вел себя избитый Роман Палыч, смотрел на все испуганно и как-то даже виновато: вот, мол, какую кашу заварил своим пьяным матерком на тех танцах.

На зоне Игнат не приглянулся сокамерникам, дело его показалось им некрасивым, а сам он — «борзым», попытались мужика «опустить», но был он силен, начал отбиваться и в результате попал в бараке на нож.

Со дня суда Сажиных с Мещеряковыми старались особо не знаясь: кивнут друг другу сухо да отведут глаза. А после смерти сына Андрей Петрович и кивать Гаврилу с Серегой перестал.

— И так ободрали нас как липку, — пустившись в горькие воспоминания, говорит дед. — Что ж, теперь еще и здороваться с ними? Сколько денег и мать, и я им заплатили! Вон на наши деньги фиксы золотые Верке поставили, шавочке этой... Вынесло ее тогда на нашу голову, миро-творицу сопливую...

— Где она сейчас?

— А на что она тебе? — удивляясь, хмурится дед. — В Балашов умотала, сразу, как ты в армию ушел...

— Да я так, просто...

— Вот уж я поверил, что просто! Будто не знаю про ваши тайные шуры-муры... Ну что ж, Игната не вернуть... У матери был уже? — сменив тон на деловитый, спрашивает Андрей Петрович Сашку. — Как ей в глаза смотреть будешь?

— Не был, — отводит глаза внук. — Сразу к тебе. Вон картошку привез.

— А то у меня картошки нет! — кричит дед Андрей в сердцах. — Какая тут еще картошка, когда внук выкомаривает, дела вытворяет! Это ж надо — с армии сбежать!

Сашка сидит на табуретке, совестится, и ясно представилась ему вся ущемленная под откос юность и, кто знает, может, и жизнь — и сызнова ее уже не собрать, как и дедовы часы, которые втоптали в казарменный пол «старика»-сослуживцы в поганой комендантской роте.

Было это вроде совсем недавно — и месяца не прошло, — а, казалось уже, что и не с ним, и, вообще, в какой-то другой жизни.

— Объясняем политику партии, — трое «старых» расселись по каптерке: один на столе и двое на подоконнике. Взгромоздили ноги в сбитых уже, до блеска вычищенных сапогах на табуретки и смотрели на Сашку весело, но не по-доброму — как коты на цыплака. Главный был Салгалов — в этой троице вроде идеолога — щупловатый, в идеально выглаженном «пэша», даже на рукавах стрелки. Кудрявый золотистый чуб из-под шапки и белесые, цвета замызганного банного стеклышка, нахальные глаза к солдатской форме не шли, к ним бы малинову рубаху, картуз с цветком и гармонь — выбрыкивать вприсядку в народном ансамбле в клубе на праздник.

— Чему учили в карантинах — забудь! — объявил «гармонист». — Молодые делают здесь все: чистка, уборка, мытье — все на вас. Раз ты один — значит, на тебе.

— А че, тебя одного прислали? Еще духи будут? — встрял с подоконника тупого вида амбал со свернутым носом.

— Хват, не перебивай, — повысил голос главварь. — Да, Сажин, скажи, что там на разводе говорил Демченко, будет еще пополнение?

— На разводе только меня в комроту отправили, — сдавленно, но дерзко ответил Сашка. — Больше ничего не знаю.

Его не отпускала тревога — до последнего надеялся, что пошлют на заставу, и теперь, когда не подфартило, не знал, как себя вести в новом окружении.

— Нам троим кровати еще заправлять будешь, — прорезался третий, накачанный коротышка с мордой, как у мопса.

Голос у коротышки был злой, одновременно хриплый и тонкий.

«Те двое еще ничего, а этот гнус», — подумал Сашка.

— Да, Сидор, молоток! Хорошо придумал, — загыгыкал Хват. — Кровати заправлять, еще сигареты добывать...

Будь сейчас другая ситуация, Сажин бы улыбнулся — рядом эти двое из ларца смотрелись причудливо: великан и карлик. И в то же время чем-то похожи. Если бы Хват ненароком попал под кузнечный пресс, точно получился бы Сидор.

Коротышка, гадко ухмыльнувшись, вдруг огорошил вопросом:

— Сколько?

Сашка растерялся и переспросил:

— Сколько... времени? — И начал задирать левый рукав, чтобы взглянуть на подаренные дедом Андреем часы.

— Сколько старому до дембеля осталось, — рассердился Сидор, — не тупи!

Сашку еще в учебке сержанты предупреждали об этом дурацком вопросе, готовя к тому, что на заставах и, особенно, в гарнизонных ротах будет, по их словам, «дедовщина». Молодежь вроде как должна была считать дни, которые остались старослужащим до приказа. Еще было очень много этих дней — двести с лишним, Сашка не помнил.

— Э-э, воин, а ты че в «котлах»? Командирские, что ль? Дай заценить... Снимай, снимай... На первом году часы ваще не положены. — Хват слез с подоконника и протянул ручищу.

Салгалов поддакнул:

— Будет тебе урок! За то, что не помнишь, сколько осталось, забираем «котлы» себе...

Сашка расстегнул ремешок, протянул вниз циферблатом, чтобы увидели надпись на крышке. «Старики» сначала не поняли, в чем дело, тупо читали по очереди несколько раз и вдруг все вместе засмеялись.

— Не-е, — Хват поморщился, — мне запахло котлы с такой надписью носить.

— Да-а, — мерзко и весело протянул Сидор, — запахло.

— Запахло? — Салгалов выхватил у Сидора часы и швырнул об пол.

Странный звук, будто чиненная пружина снова отлетела — сломалось что-то в старом механизме. Сломалось в тот момент что-то и в Сашкиной душе.

— Запахло? Запахло? — все больше распаляясь и уже почти истеря, повторял Салгалов. Он хрястнул по циферблату каблуком. — Запахло не знать, сколько осталось старому! Запахло носить часы на первом году службы! Запахло!

Он отбивал чечетку на осколках, шестеренках, винтиках. Свалаясь пыльный ремешок, откатилась куда-то крышка с гравировкой:

— Запахло!

Даже Хват с Сидором с недоумением наблюдали за истерикой своего заводилы. И не замечали, как неузнаваемо меняется в лице молодой и на первый взгляд робкий Сажин.

В эту роту, комendantскую, Сашку распределили после учебки, и хоть просился он у замнаштаба майора Демченко на любую линейную заставу, навстречу ему не пошли, — умудрились впихнуть его, молодого, причем одного-единственного, в то подразделение, которое больше всего на виду у гарнизонного начальства.

Чем уж он так в штабе приглянулся, или уж, скорее, наоборот, не угодил, — Сашка не понимал. Все офицеры, как один, едва его завидев, кричали:

«Сажин, ну и репа румяная!», «Сажин — небось деревенский?», «Морда у тебя, Сажин, — кровь с молоком!», «Всем брать пример с рядового Сажина — так и должен выглядеть образцовый солдат!» Неужто всего лишь за здоровый цвет лица ему так не повезло? Начальству так важно, чтобы караульные при штабе были крепкими и румяными?

И все всегда называли его по фамилии, Сажин да Сажин... И молодые, и старые, и офицеры, и даже женщина из лаборатории в санчасти, коловшая новобранцев в палец.

«Имя свое там забудешь. В армии только по фамилии...» — так и предупредил Андрей Петрович внука, вытаскивая из своей памяти подробности подзабытых фронтовых будней.

Еще дед любил рассказывать, — особенно выпив на праздничных застольях, когда приходил из Муромки в Покровку в гости к сыну, внуку и снохе в редкие дни, когда у Сажиных собиралось много народу, — как его полк в войну освобождал Освенцим, и, в тысячный, миллионный раз избавляясь от морока виденных им трупов, описывал все до жестокости подробно, закатывая к потолочному брусу глаза, в которых начинала туманиться старческая синева. Андрей Петрович не замечал, как сын Игнат или невестка пихали его локтем в бок, и улыбался внутреннему калейдоскопу проскочившей жизни — не понять было, что ему представлялось в тот момент, когда он пояснял бабам, насаживающим холодец на вилки, чем крематорная топка в концла-

геру по своему устройству отличается от русской печи. Улыбался, а у самого дрожали кисти рук, и вилка звенела о старую эмалированную тарелку.

Последнее застолье было на седьмое ноября, на праздник, — четвертая по счету «Октябрьская» без Игната, как раз за месяц до того, как внук с кружкой, ложкой и трехдневным запасом харчей отбыл к месту службы. Санек в этот красный день календаря как раз родился. Погалдев, выпив за Сашку и его маму, гости принялись за горячее — была утка с яблоками и дымились отварные картофелины с укропом.

В тот вечер Андрей Петрович подарил Сашке свои командирские часы со святящимися стрелками:

— В армию возьмешь, там пригодятся.

Когда накануне он ездил в Балашов в часовую мастерскую — чинить механизм и заказывать дарственную гравировку, его там отговаривали:

— Зачем новобранцу в армии часы — отберут ведь.

— Не отберут, с такой гравировкой старослужащие не посмеют, — довольно усмеялся дед и перечитывал черненую надпись на серебристой крышечке. Выведенные строгим шрифтом буквы складывались в изящную надпись: «Молодому бойцу от деда».

— И правда, двусмысленно, — отметил мастер с улыбкой, — можно и так понять, и эдак... Каждый дембель «дедом» себя мнит, «старым», — а тут «молодому бойцу»; над дембелем свои же смеяться и начнут, если в таких часах ходить будет.

— То-то же, — хвалился дед Андрей. — О, как я придумал!

Три месяца, с самого первого дня в армии, Сашка сверялся со святящимися стрелками, и были они для него той ниточкой, которая связывала с домом: у кого-то фотография любимой, еще у кого-то — мамин крестик, а у него — дедовы командирские часы.

Когда машины, пара «уралов» и шестьдесят шестой «газ», привезли пополнение прямо с поезда на вычищенный плац и туда же, на хрустящую заснеженную твердь, всех новоприбывших выгрузили из машин вместе с сумками, было еще интересно. Даже любопытно было, что же ждет саратовскую команду дальше? И, главное, что заботило многих — когда выдадут обмундирование.

— Через полчаса выдадут — сообщил сержант, который вез их в поезде. — Не спешите, надоест еще форма, мечтать будете одеться в гражданку...

«Полчаса, — подумал Сашка и глянул на часы. — Дед, слышь, через полчаса стану солдатом. Как ты и хотел».

Началось все для Сажина еще в октябре, когда он встретил на грейдере, напротив дома соседки, бабы Нюры, своего приятеля Васю Мутного. Тот торчал на дороге, и непонятно было, то ли он только что пришел со своего Шанхая, то ли уже где-то поблизости наошивался и теперь собирается восвояси. Он держал за спиной обычный дерюжный мешок, в котором, как водится иной раз в сельской местности, нес что-то не для чужих глаз. Если кто их видел в тот момент, то мог бы рассказать, что после короткой, слово за слово, беседы Сашка пошел к себе — или во дворы, или в дом, — а потом вернулся к Мутному и что-то ему передал — какой-то сверток, который Вася быстро сунул в мешок. Затем друзья посто-

яли, подсудачили, да Мутный, вяло двигая вечно голодными глазами в темных орбитах, попрощался и пошел потихоньку прочь из центра. Но кто наблюдал, увидел не все и не так.

На следующий день, а как раз наступила суббота, когда дети и внуки из Балашова приезжают в село проведать старух, к Сашке подошли даже не с претензией, а, скорее, с обвинением.

Наматывая в тот момент цепь на колодезный валик, он рывками крутил рукоять, будто пытался завести выдавший виды грузовик. Тяжелое ведро шло из колодца неохотно, моталось, било о стенки, отколупывало сырую цепу, роняло в гулкую глубину оплески. Наконец, поползли мокрые, потемневшие от воды звенья, и оставалось только, придерживая рукоять, другой рукой перехватить ведро за дужку и вытянуть его, как сома из омута.

— Ну и как сало? Вкусное? — неожиданно спросили сзади.

Сашка поставил цепное ведро на приступку, обождав переливать из него в свое эмалированное.

— Какое сало?

— Объясним ему? — Внуки бабы Веры были настроены решительно. — С Мутным на дороге стоял? Разговаривал?

— Ну-у...

— О! Значит, вместе сало воровали. По-хорошему хочешь или по-плохому?

— А что, Мутный у бабы Нюры сало украл? — Сашка начал соображать, к чему они клонят.

— А ты, типа, не в курсе...

Саня был не в курсе.

— Да это ты воровал, ты пакет с салом Мутному отдал, — подключился второй внук. — В общем, выбирай — отдаешь сало и литр самогону сверху...

— Или деньгами, — опять прорезался первый.

Оба были мелкие, — недомерки с лицами, как у дворовых шавок, какие, навизжавшись, норовят ухватить сзади за штанину. Глядели исподлобья.

— Или что? — спросил Сашка с вызовом.

— Или пишем на тебя заявление участковому. И тогда сядешь...

— С какого перепугу ты решил, что у меня в пакете сало было?

— А что ж еще-то?

Не любил Сашка мата, но тут не выдержал:

— Да пошли вы, ребята, знаете, куда!

— Мать и дед у тебя умные, а ты, дурак, в отца пошел! — прошамкала из-за забора восьмидесятитрехлетняя баба Нюра.

Пожал Сажин плечами: «Карга старая...»

Дома перед ужином мать искала хлеб, не могла никак найти свежую буханку, которую утром принесла из магазина.

— Саша, ты не видел, не брал?

— Нет, — соврал он.

— Да небось Мутному отдал, — продолжала мама с ехидством. — Ты же у него кормилец... Что ж ты таких друзей себе выбираешь... Знаешь, как вас люди называют? «Глупой» и «Доходной». А «Глупой» — это про тебя.

— У всех клички есть. Вон отца «Губаном» звали, — ответил Санька и подумал, что лезет мать не в свое дело.

И у него самого губы были толстоваты — это в отца, а глаза добрые и навькате — в маму. А вместе получалось, что вид простофильный, как у придурка. Да, к тому же, вечно румяные, как свеклой намазанные, щеки. Вот, глупым в селе и прозвали.

— Подкармливаешь дружка... Отдал буханку, а самим теперь не с чем ужинать, — ворчала мать.

Продолжая бубнить, она накинула пальто и пошла через мост к соседям — просить полбуханки до завтра.

На следующий день покровский участковый, Костя Петрунин, нашел все украденное у бабы Веры сало — было килограммов десять — у Васи в шанхайском доме, в котором Сашкин друг жил со своей парализованной бабушкой. И Мутный, боясь тюрьмы, — хотя за сало бы и не посадили, но отдать ему нечем, а не будет его, кто ж присмотрит за бабулей, — сразу указал на Сашку. Сволочь он, но Сане его жалко, даже не его, а памяти о детстве, в котором они были лучшими друзьями.

Для протокола Сашка в краже сознался, но дома и на людях продолжал твердить, что сала не брал. Участковый попал в трудную ситуацию: в этом деле Сашке верил, понимал, что парень себя оговаривает, но заявление лежало, требовало от него решительных действий, а начальство в телефонную трубку гундосило о плохой раскрываемости на его участке, и с этим тоже надо было что-то делать.

— Сажин, зачем это тебе? Ради чего? Скажи?

— Да все равно уже ославили. Люди такие. Двое промычали, остальные подхватили. Как стадо. Ну, скажу я сейчас, что Мутный украл, а кто теперь поверит, что я ни при чем? Теперь я для них всегда вор буду и не отмажусь.

— Но ведь он, выходит, мало того, что украл — он же оклеветал тебя. Тоже ведь статья есть — за клевету, а ты его жалеешь. Как так можно! — не понимал участковый.

— А кто еще его пожалеет? — твердил Сашка. — Меня сперва баба Вера с внуками оклеветали, а теперь все село клеветает, что ж им теперь, про статью какую рассказывать? Лучше за кражу сяду.

— Не сядешь. За сало не сажают. За доски, которые вы с Мутным на Шанхае украли, целый сарай досок, и продали в Самодуровку, — за это сажают. Кто вам помог с транспортом? А? Мещеряков, что ли, «зилек» свой подгонял?

— Константин Петрович, вы про Серегу? Мы с ним особо и не знаем. И, вообще, с досками — это не к нам, это небось самодуровские сами и стырили, а сказали, что купили. А надолго за доски сажают?

— Ох, Сашка, никак тебя не прищучить! За доски условно, может, дадут годик или два. А зачем тебе, раз не ты?

— А может, и я! Пока условный срок, в армию не возьмут, — засмеялся Сашка. — Непогашенная судимость!

— Пойдешь в армию, паршивец! Пока не натворил чего похлеще. Глупой, глупой — а поумней меня!

С этими словами участковый оседлал свой мотоцикл с коляской и погнал в сельсовет.

— Вот-от, — радовался Сашкин дед по дороге из Саратова, из областного военкомата, — сейчас вернемся, отдохну, мать тебе соберет с собой пожарть, а завтра опять поедем с тобой в Саратов.

Они добрались до семеновского поворота на автобусе, и теперь оставшиеся до дома семь километров топали пешком.

— Поедешь в какое-то Балакурти, на границу. Нашел тебе местечко военком. Название-то не наше — Узбекистан, наверно, или Таджикистан. Не Германия, конечно, и не десант, но зато юг, тепло, мирно, не убьют... И все одно лучше, чем те же два года сидеть в тюрьме за ворованное сало... А, Сашок?

— Да не брал я сала! И не сажают за него — Петрунин сказал!

— Знаю, что не брал. Водишься просто с тем, кто берет. Хватит и меня, и мать свою позорить перед всем селом. Мало того, что отец сел да стигнул, мало, что все село тебя слабоумным считает, так теперь еще и вор! Нам-то каково, а? Что людям-то говорить? Спросят: а ваш Санек каков? А мы скажем: наш Санек дурак и вор, в тюрьме сидит. Скоро тоже под нож угодит, как Игнат. Весь в отца пошел. Так что ли? Не-ет. Будем гордо отвечать: пограничник наш сын. В Таджикистане на границе служит! А Нюрке скажу: про сало забудь, крысы твое сало сожрали!

К призывному пункту Саратовского облвоенкомата подогнали заказный автобус. Он стоял в клубах вонючего бензинового дыма и ожидал пассажиров довольно долго — под задним бампером от сизых выхлопов уже потемнел асфальт и накапало радужную лужицу. Каждый из отъезжающих обязательно приводил с собой группу. В основном это были родные: матери и бабушки, реже отцы с дедами, тетки; через раз попадались любимые девушки с неперенными клятвами дожидаться, и самой многочисленной группой, которая непонятно кого провожала, были молодые веселые горлопаны из числа друзей. Кто-то из призывников, чернявый, с усиками и модной челкой на глаза — таких девки любят, — бренькал на гитаре песенку про путану: «Меня в Афган, тебя в валютный бар...» Ребята подпевали — кто-то даже жалел, что Афган кончился — не погеройствовать!

Сашка провожал себя сам — дед привез его заранее и, сдав дежурному, ушел, чтоб не пропустить маршрут Саратов-Аркадак, который пролегал через Покровку. А то снова пришлось бы идти семь километров, а у деда больные ноги. Грустно, что с Веркой Мещеряковой они встречались тайком, а то бы приехала на проводы. Ну, во всяком случае, обещала писать письма...

Когда автобус с призывниками тронулся с места в сторону железнодорожного вокзала, сопровождавший команду капитан-пограничник собрал военные билеты, что в обмен на паспорта выдали всем на руки буквально за полчаса до отъезда, и стопкой убрал их к себе в портфель.

— Товарищ капитан, а дынями на заставе кормят? — спросил Сашка, размышляя о том, как обустроен быт на таджикских границах.

— Че-ем?

— Дынями, — вздохнул Сашка.

— Дыни в Заполярье к сожалению, не растут. А ягодным вареньем и грибами, которые вы сами соберете, сварите, засолите — кормят.

— В каком еще Заполярье? — Сажин подумал, что, может быть, не тот автобус или команда не его.

— В Мурманской области. В Алакурттинском отряде.

Вот оно что. Алакуртти-Балакурти, юг, тепло. Да, дела-а...

— А у меня даже теплых носков нет, — сказал Сашка.

— Дадут портянки, — успокоил капитан.

- Размер? Какой размер? Воин, тебя спрашивают!
- А фуражки когда?
- Сорок три.
- Товарищ прапорщик, а почему шинель без пуговиц?
- Подвяжи простынь, неча хозяйством передо мной светить.
- А других шапок нет?
- А погоны?
- Подойдет, натянешь!
- Белье надевай сразу — и кальсоны, и рубаху! Теперь зимнее! Живее, боец, как там тебя... Сажин! Отмечаю — белье получено. Простыню кидай сюда!

Сашка вздрогнул — в оживленной многоголосице спортзала, временного превращенного в пункт выдачи обмундирования, сейчас обращались к нему. Начал спешно натягивать белые хлопковые кальсоны с пуговицей. Рубаху. Так, зимнее... Трикотажная фуфайка цвета небесных послегрозových просветов застряла на влажной бритой голове — ни туда, ни сюда. Улыбался в морщины прапорщик, смеялись дежурившие в зале сержанты, ржали новобранцы. Повеселил народ рядовой Сажин. Натянул все-таки вещь и, с бирюзовыми катышками, прилипшими к черепу, направился получать камуфляж. Присмотрелся к своим, — оказалось, что у всех на головах такой же трикотажный начес: друг на друга пальцами показывают и веселятся поволжские ребята.

Сначала в раздевалке всех стригли под ноль ручными машинками и отправляли, как выразился торчавший здесь усталый майор-начмед, на «санобработку», которая оказалась просто холодным душем.

— Солдат, в часах мыться собрался? Снять часы! Отправишь посылкой домой, — крикнул майор.

— Амфибия, — фыркнул Сашка, забегая под струю воды.

— Что сказал?

— Часы-амфибия. Командирские — не намокнут. Дед приказал не снимать.

«Ну, попади только ко мне в санчасть, шустряк, — пробормотал опешивший офицер. — Попробуй только заболей... Амфибия...»

Сашке не привыкать — закаленный в деревне, приученный мыться колодезной водой, он крякал, пока тонкая ледяная струйка точила бритую голову. Только вот склизкого дегтярного обмылка, что вырывался у всех из рук на рыжий плиточный пол, ему не досталось. После выдали по простыне и по листку со списком:

— Та-ак, бойцы, вытираемся, заматываем срам, и бегом получать форму!

В спортзале было подготовлено несколько развалов со складским добром: шинели, накинанные ворсистыми скрутками; черные, свиной кожи, сапоги-заполярки, сшитые попарно; белье нижнее белое и с начесом — белье утепленное, синее; ремни со сверкающими бляхами, длинноухие страшные шапки с завязанными ушами и отдельно камуфляжные костюмы с иголки — мечта «стариков», готовящих себе амуницию на дембель. Прапорщички, вооружившись планшетками и карандашами, занимались выдачей, сержанты направляли людской поток. Между вещами и лысыми, как яйцо, новобранцами, на разные лады замотанными в белые простыни, сновал фасонистый офицер, опять же с майорской звездой,

из роты материального обеспечения, и деловито ступал сам подполковник Тарасов — грозный вездесущий начштаба.

— Сперва вещмешок, — гаркнули Сашке в правое ухо, в котором после бодрого душа студеной пробкой застряла вода. Он подал список, — напротив первого пункта поставили галочку, — и, кружа по залу, одеваясь и постепенно обрстая имуществом, ходил от горки к горке, пока, наконец, не получил шинель.

А скольких трудов ему стоило ее обшить!

— Эх-х, опять иголка сломается, — досадовал он на крепкое шинельное сукно.

Полупришитый погон оттопырился, торчал зеленым крылышком, нитка запуталась, увязла узелком в плотной ткани.

— Бери лезвие, отпарывай и пришивай по новой, — подсказал сержант, назвавшийся Димой. — И поживей давай, тебе еще петлицы, пуговицы, не тормози...

— А иголки есть еще?

— А на тебя не напасешься, сколько сломал уже? Все шьют, никто не ломает, один ты... На, держи. Сломаешь — пойдешь туалет мыть.

Весь первый день службы саратовские новобранцы промаялись, доводя до ума форму, полученную накануне. Полный комплект — зимнее, летнее, парадное. Все оказалось полуфабрикатом — без пуговиц, петлиц, погон, шевронов, знаков отличия. Кокарды для фуражек — и те выдавались отдельно, вместе с крабиками и пуговицами. Вымерял линейкой сантиметры, отступы, сверялся с уставами, куском мыла ставь метку как заправский портной, и потом знай себе — отматывай с двух здоровых промышленных катушек, белой и черной, ниток, сколько надо, ищи иглу и сиди, шей. Накануне перед отбоем в мыльницах разводили известку — маркировать вещи, и каждый тщательно спичиной выводил свою фамилию на подкладках.

Сержант Меркулов, которого на период карантина назначили молодым бойцам не то в командиры, не то в няньки, в принципе, был ничего — нормальный, душевный. По неуставной моде к поясной петле у него был приторочен складничок на длинной цепочке — поиграться. Дима его изредка открывал, для понту покручивал им в воздухе и втыкал в истергтый от мытья дощатый пол.

«Покрасить бы надо полы в казарме», — подумалось Сашке; он вспомнил сразу, каким нарядным охристым глянцем светились дома доски, особенно перед праздниками, когда мама, бывало, пройдет влажной тряпкой.

— Та-ак! — опробовал сержант командирский голос.

Вышло не очень. Тогда он выпрямился, встал ухарем посреди бытовки, шапку сдвинул далеко на затылок. Руки в карманах, и поверх расстегнутого ворота болтается на шнурке полированный патрон калибра «пять сорок пять». Вот теперь сразу видно, что, как минимум, год службы у парня уже позади.

— Ну-ка, джинны и духи! Слушайте и повинуйтесь!

Народ оторвался от шитья неохотно: чего, мол, тебе надобно, старче — некогда ведь, спешим.

— Пока все не пришьете, спать не ляжете, воины! Обмундирование проверю: что у кого не так — будете переделывать.

Сашке, сколько он ни старался, не поддавалась шинель. Исколол себе пальцы в кровь, а когда догадался давить иглу пуговицей, начали ломаться игольные ушки.

Кое-как доделал все последним, уже под ропот и шипение своих земляков — спать все хотели. До подъема-то часа четыре оставалось.

«Один замешкался, а всех сна лишают. Почему так? Неправильно это, — думал Сажин. — Скомандовали бы всем отбой, а меня оставили потихоньку дошивать».

«Карантин, подъем!» — промычал на дальнем выпасе за речкой Еланкой совхозный бык в Сашкином сладком сне. «Чудно», — не просыпаясь, подумал парень, а бык тем временем появился совсем рядом и страшной тупой башкой с костяным наростом начал бодаться.

— Подъем! — бил Меркулов чищенным сапогом в Сашкину койку — даже с верхнего яруса Лакша свалился. Лакша — это фамилия, саратовец он, городской, гопник с набережной. Это он играл на гитаре «Путаны», когда в военкомате ждали погрузки в автобус. Разговорились с этим Лапшой-Лакшой, пока всей командой ехали в поезде — в плацкартном вагоне, перекрытом с двух сторон. У Лакши — с усиками и цыганистой вороной челкой на коровьи глаза — тот еще видок был, пока не обрили, теперь смешно на него смотреть стало, как другой человек, ущербный подросток без волос.

А по соседству уже вскочил и неумело наматывал портянки Спэнсор — еще в военкомате кличку получил модную, из нового, капиталистического обихода, но не за то, что щедрый, а за толщину морды. И по всей площади казармы, со всех рядов и ярусов поспрыгивали, заматались в белых кальсонах всполошенные люди. Хватали с табуретов камуфляжи, ремни, шапки. Ночью все лишнее, что подшивали минувшим днем, что не пригодится зимой в учебке, сдали каптеру на хранение.

— Карантин, строиться!

Меркулов — бодрый, улыбается, а ведь тоже не спал. Начифирился небось с каптером, ножичек кидает в пол.

— Вам повезло, — сообщает, — пока вы в карантине, утренней зарядки у вас не будет. Сорок минут даю на умывание, заправку кроватей, чистку сапог. Потом построение — в ПМП идете на медосмотр и сдачу анализов. Натощак пойдем, завтрак — позже. Мойтесь чище. Лаборанты у нас — женщины, и смотреть в микроскоп на тысячи загубленных жизней им неприятно.

Казарма наполнилась густым гуталиновым духом. На сапогах этот казенный запах разнесли по всем углам, напитали им половицы; даже, казалось, хлорка в туалете отдает сапожной ваксой. И все же новобранцы оживились — в гарнизоне, оказывается, есть женщины!

Около умывальников началась перепалка. Тем, кто просто умывался, в основном деревенским, не понравилось, что рядом кто-то, расстегнув штаны, неуважительно «сорит срамом в раковину» — моется перед сдачей анализов. Чуть до драки не дошло. Двоих крикунов охладил Меркулов — вылил на кафельный пол тазик мыльной воды и велел подтирать.

Все здесь оказалось не таким, как Сашка представлял себе, когда дед рассказывал ему про армию, про войну. Даже о походной каше Андрей Петрович говорил вкусно, со вкусом. Он и сам неплохо умел готовить, и невестку Клавдию, Сашкину маму, своим рецептам выучил. Еда в родном селе Новопокровское, — в Покровке, если по-простому, — тоже небогатая была, но если каша, так с душой и с дымком, а не как в части — клейстер; и если щи, то по всем правилам — чтобы со сметаной, и ложка в миске стояла. А то хлебово, которым здесь, в гарнизонной столовой, теперь Сашку кормили, и щами не назовешь — так, супец в голодный год

дохлому поросенку. Все в армии по команде и только строем, душе не развернуться, и глазам — ни простора, ни красоты. Забор с колючкой поверху, и из серого кирпича трехэтажные длинные корпуса. Штаб, клуб, склады, казармы, медпункт — не разобрать с непривычки, где что, — все казалось одинаковым, будто короткой щеткой-шваброй, прозванной солдатами «бэтээр», начисто вымели, выдраили, вытравили отсюда все яркое и вольное.

6

Об этом заполярном гарнизоне говорили так: куда ни плюнь — попадешь в майора. Они тут были разные: худые, толстые, здоровяки и «соплей перешибешь», увальни и шустряги; чернявые, блондины, седые; попадались бритые наголо и со старческими залысынами, — но практически все поголовно в этом звании носили усы.

Майоры начальствовали на заставах, кроме самых обширных и тяжелых участков, — туда отправляли спортивных молодых лейтех; майоры гоняли в штабе чай с пряниками и командовали отрядными ротами. По своим казенным квартирам в поселке одни втихую глушили водку, другие долгими полярными ночами уговаривали жен подождать еще год-другой перевода с повышением на новое место: в штаб округа, а то и в одну из столиц. И с трудом верилось, что эти одинокие пьяницы и трезвые семьянины, чинодралы и разгильдяи, добряки и злыдни, — как минимум через одного прошли за время своего лейтенантства Афган, имеют не по одному ордену и ранению.

Ночь вошла в свой самый темный период — декабрь, полярное сияние изумрудными питонами почти уже удавило солнечный свет, на долю короткого мглистого дня осталось три часа в сутки. Служебные будни тянулись своим чередом — скоро Новый год, а осенний призыв продолжался, военкоматы все еще поставляли в учебки партии разномастных мальчишек, юношей, мужичков — на трехмесячную переплавку в одну-родную зелень.

Начали в карантинную казарму захаживать с рекламой «покупатели» — сержанты и офицеры из учебных рот, в которые по истечении десяти дней весь саратовский призывной поток должен был влиться мелкими ручейками, перемешаться с белгородцами, карелами, сибиряками, ну и питерской да московской братией, разумеется, куда ж без них, без пиявок.

В Покровке не любили москвичей — если кто хоть на время попадал в Москву и жил там, а потом возвращался, его уже за своего не считали. Портился народ в столице, приезжали оттуда чужими и странными, нахватавшись дурных привычек и гонору. Андрей Петрович съездил разок к дальней родне в первопрестольную и рассказывал потом, что встретили его плохо, намекали, что тесно, и надо б ему в гостиницу, а на какие шиши? Это в столице все стали в «доллерах» получать, миллиончики, а в селах работа, какая была, вся кончилась. Или паша за гроши, или иди воруй. Переночевал у тех родственников, как собачонка, на матрасике в прихожей, и, обиженный, — восвояси. А на рынках-то у них есть все, что хочешь, и дешево. И самое дерьмо из того, что у них там продают, везут потом в провинцию, на Балашовский базар, к примеру, и втюхивают втридорога. Пиявки, одним словом!

Даже странно, что сержант Меркулов москвичом оказался. Неплохой парень-то...

— Товарищ сержант, — начал Сашка по уставу, как уже научили, — разрешите обратиться!

— Обращайся, — кивнул Дима Меркулов.

Димой он успел для всех побыть только в первый день — потом началась муштра, и за фамильярность многие уже успели поплатиться — стараниями наказанных помещения сияли чистотой и пахли мылом.

— Вы здесь только на карантине сержантом, или останетесь в учебных ротах?

— После карантина я в сержантской школе буду делать из вас спецназ, — ответил Меркулов и громко, чтобы все слышали, крикнул:

— Бойцы! Кто хочет стать настоящим рейнджером, научиться стрелять из всех видов стрелкового оружия, из пулеметов с двух рук, добро пожаловать в школу сержантского состава!

С этого и началось. Потом от связистов пришел лейтенант и рассказывал про телефонные станции и радиосвязь. Капитан-собачник напирал на романтику и любовь к животным. Не забыл упомянуть, что по статистике, правда, лет на тридцать устаревшей, чаще всего задерживали нарушителей именно кинологи собачьей службы. И Сашке захотелось стать кинологом. Потом он чуть было не записался в роту трактористов-дизелистов, к деревенского вида майору — думал, с таким-то найдет общий язык, но все же решил повременить, утаил, что умеет немного управляться с трактором — «рано еще, осмотреться надо...»

В водители бы он пошел сразу, «вон, как браво крутит баранку Серега Мещеряков», но туда брали только тех, кто с правами, а у Сашки и на трактор никаких прав не было — мужики в совхозе научили за рычаг дергать, да и все.

«Пойду все-таки туда, где Дима Меркулов будет сержантом, — определился рядовой Сажин к десятому дню. Это был последний день карантина, к вечеру молодых бойцов уже ждали в профильных казармах учебных рот.

В полдень их вывели на плац и построили.

Сашка задумался — просто отвлекся на падающий снег и забыл, что задумчивых в армии не любят.

— Рядовой Пупкин! — неожиданно окликнул, обдал его паром изо рта огромный и плотный майор Скотников, начальник сержантской школы. Усы ежом, брылястое бордовое лицо с ростками седоватой щетины по щекам — такую не взять ни лезвием, ни электрической бритвой. Глаза настолько мелкие, что в них ничего не прочтешь. Шинель с портупеей и форменная офицерская шапка с голубым плюшевым отливом казались меньше, чем нужно бы на такую фигуру — будто их силой натянули на безразмерный соломенный куль, на каких в старину отрабатывали штыковую атаку. Добавив еще пару крепких слов, майор угрюмо навис над рядовым — ждал ответа по уставу. Лицо из бордового становилось малиновым, потом свекольным, и частый злой пар валил уже из ноздрей, оседа инеем на ремнях, пропущенных под погоны. А мороз-то крепкий! На текущие сутки Скотникова назначили дежурным по учебному пункту, и перед обедом на плацу он решил устроить смотр: начищены ли сапоги и бляхи, у всех ли застегнуты под кадыками крючки, изучен ли устав.

Сашка, хоть и из села, вроде привычный, а мата не любил и особенно не выносил, если ругательные слова бросают в его адрес.

«Матерщина — это же про стыдное, об этом вслух нельзя», — еще паником одернул он кого-то из старших в своей Покровке. И в ответ, на удив-

ление, умолкли. Наверно, с тех пор в родном селе его начали сторониться, не принимать в компанию, избегать.

Сейчас он чувствовал, как если бы ему кто оплеуху отвесил, так горели его и без того красные щеки.

— Боец! Звание, фамилия! Быстро! — рявкнул майор и, окончательно выйдя из себя, снова матерно выругался — как грязью выстрелил.

По уставу, когда идущий вдоль строя офицер перед кем-то из солдат останавливался, нужно было назвать фамилию и звание. А Сашка и не заметил, как майор затормозил в аккурат перед ним, пропустил этот момент — сперва следил, а потом внимание перескочило на снег, который искрился в синем воздухе мелкими иглами, покалывал лицо, сыпался сзади на голую шею между шапкой и воротником бушлата. Темновато было в этом Заполярье в декабрьский полдень.

— Рядовой Сажин, — наконец, выдал из горла Сашка и стал навывтяжку.

Скотников дернул носом, губой, скривил рот:

— Выйти из строя!

Как положено, солдат вышел и развернулся к строю лицом. Зябко на белом плацу без соседских бушлатов, что грели в шеренге слева да справа. Майор обошел кругом и, наверно, не найдя, к чему придраться, — все у Санька, как надо, все подогнано, — вдруг ослабил его на весь карантин:

— Таким, как рядовой Сажин, который зевает в строю, делать в школе сержантов нечего! Встать в строй, солдат! Где только щеки такие отрастил — как помидоры!

«Скотинников тебе фамилия, а не Скотников. На бычару нашего совхозного похож», — подумал Сашка о майоре...

«Перелома нет, просто трещина, а рану зашьем, заживет», — сказал тринадцатилетнему подпаску врач новопокровской больницы. Санька, после того, как бросил школу, помогал пасти стадо то деду, то Роману Терещенко, и так же, как во время смотра не заметил Скотникова, так и тогда проглядел быка. Рог ударил по ребру вскользь, но кожу с мясом распахал. В общем, царапина — повезло! И Роман Палыч с собакой быстро подоспели на выручку — спасли парня. И хороший в их больнице врач работал, на все руки мастер — дал медицинского спирта, хлебнул сам и, из того же флакона щедро промыв рану, виртуозно сшил края.

«В сержанты путь закрыт. А ну вас всех! — крутанулась мысль в бритой голове. — Куда сами на обучение назначите, туда и пойду.»

Его распределили в учебную роту связи.

Знающих, как выглядят диоды с триодами, оказалось на весь призыв немного, и роту доукомплектовывали, сливая в нее весь, по выражению майора Демченко, «неопределившийся сброд».

Демченко имел орден Красной Звезды за интернациональный долг, острые оленьи ноздри — чуют ветра, дующие в штабных кабинетах, и черные, обувной щеткой, усы.

По должности он был замначштаба, второй после Тарасова человек, и этой штатно-кадровой единице, по сложившей в Алакуртти традиции, шел в подчинение на два квартала в год весь учебный пункт, — кроме сержантской школы, в которой бесценно владычествовал Скотников.

И офицеры — из тех, кто давно служил в гарнизоне и помнил Демченко другим, — удивлялись и не верили, как полевой лейтенант, герой Афгана, за каких-то несколько лет может превратиться в чутьистого ка-

рьериста-штабника, которому лишь бы как в курятнике — забраться на жердь повыше и гадить на тех, кто остался внизу. Юные лейтенанты-романтики, вроде выпускника московского погранучилища Рудакова — те, вообще, наивно верили, что геройство — на всю жизнь, что если подвиг, то им освящена вся планида, и что боевой орден не может уже открыть перед человеком иных дорог, кроме пути особой ратной аскезы и бескорыстного служения. На то он и орден — древний символ принадлежности к кругу рыцарей-монахов.

Но жизнь, странная, нелепая, новая, запах перемен, смешивающих в своем вихре доблесть и колбасу, воинский долг и теплые квартиры, да что там говорить, — меняющих слова в гимнах и тексты присяг, — вносили свои коррективы, меняли, ломали, лукавили людей, очаровывая и разочаровывая, заставляя, как хищников, «выжил в схватке — теперь жри!», крутиться, алкать, приспособливаться, в общем, как ни странно звучит, снова выживать... Неужто новое время, последние перестроечные пять лет, так переродило людей, переделало человеческую природу, что везде — во власти, в КГБ, в милиции, армии, даже на селе, в совхозах, — стали все уже не люди, а оборотни... Вчера парторг — сегодня Родину на торг...

А может, оно всегда так было, и человеческая природа такова и есть от создания: повоюет эдакий молодец Демченко, насвершает подвигов, получит в награду спелую, в теле, невесту-парикмахершу, а дальше — сказка кончилась, и «жили они долго и счастливо», рожали карапузов, пробивали себе удобное жилье, чтоб сортир в нем не холодней, чем у других, да должность для бывшего доброго молодца, а теперь уже штабного интригана — послаще, к царскому столу поближе.

В рядах «неопределившегося сброда», зачисленного в учебную роту связи к какому-то невзрачному, медлительному капитану Иванову, оказался и рядовой Сажин.

Извне подумалось бы, что обвык и втянулся — с трудом, конечно, не без «залетов», как здесь принято было говорить — и «тупил», бывало, и «косячил» на занятиях в профильном классе, в строю, в бытовых мелочах; и так над ним потешались все, включая командира, что иной раз начинал он глупить даже на бис, — пусть уж смеются и подкалывают, лишь бы не ругали и не матерились. А вот внутри себя, в сердце, все воспринимал в штыки и против всего восставал душой. Коллективизм навязанный, строевое единство из-под палки конфликтовали в Сашкиной голове со степной вольницей и свободой быть самим собой. Но где нужны были сила и выносливость — там отыгрывался за весь казенный гнет, туда направлял все свое закованное в кандалы бунтарство. Пробежит дистанцию первым и отстающих дожидается, на свои часы-амфибию посматривает. На лыжном марш-броске по окрестностям — это был первый выход всего учебного пункта за пределы лагеря — Сашка неизменно шел в авангарде растянувшейся вереницы молодых бойцов, успевая к тому же поглядеть на чудной северный ландшафт. Форсировали озеро в тихие безветренные минус двадцать, когда в три часа пополудни начинало уже смеркаться. На заснеженную гладь, разлитую во все стороны, с берегов безмолвно хмурились сопки. Косматый, в заиндевелой шкуре из мелких сосенок, шаман, выпучив валунами каменные глаза, смотрел на противоположный берег, где, укрыв хвойным пологом пару рыбацких построек, невысокая, другого, видно, племени, гора-девица зачерпывала базальтовой ладонью замерзшую воду.

За час до озера на склоне сопки был привал с костром. И у Сашки взорвалась фляга с чаем — положил на тлеющую головешку погреть, а крышку отвинтить забыл. Хлопок переполошил всех так, что подумали — граната. А капитан Иванов оказался мужик с реакцией и юмором: сразу просек, что к чему, скомандовал: «Газы!» — не пропадать же даром такому случаю! И до берега со склона бежали с лицами, обтянутыми горько пахнущей тесной резиной, надрывно трубя в гофрированные хоботы. И рядовой Сажин — быстрее всех. Только в самом низу, на льду уже, поступила команда противогАЗы снять. Паренек из Питера, что был у них за художника, намалевал на следующий день в боевом листке карикатуру — ядерный взрыв из разорванной пополам зеленой фляжки, а рядом Сашкин портрет: воротник бушлата, над ним помидорами щеки, над щеками — испуганно вытаращенные глаза, и поверх — шапка. А вместо ног — лягушачьи лапы с перепонками, на одной из лап часы и подо всем подпись — «Амфибия».

В довершение в понедельник на разводе на плацу поглумился Демченко:

— Нам, — говорит, — даже в штабе слышно было, чуть гарнизон в рубье не подняли! Пару нарядов бы тебе, Сажин, вне очереди, но, паразит эдакий, лучшее время показал, и всю роту за собой на первое место вытянул...

Сашке бы в самый раз на дальнюю линейную заставу, чтоб там, рядом с природой, как в деревне было — распахивал бы на тракторе контрольно-следовую полосу, в сопки бы в дозор ходил — лыжню после снегопадов прокладывал... Возили их на две недели на стажировку — понравилось. Собаки, коровы были на заставе, ребята деревенские, простые служили там и между собой, и с начальством общались хоть и без особого устава, но и без дедовщинной гнили — по-хорошему, по-семейному. Помогал Санек кочегару баню топить и парил всех подряд, своих, заставских, офицеров, березовыми вениками. И еще — корову доил. Старшина советовал ему: «Будут распределять — просись у замначштаба к нам. Скажи — от Грачева поклон. Вместе Афган прошли».

Да на беду, Демченко рядового уже приметил и виды на него имел по другому поводу: приглянулись Сашкины физкультурные успехи, особенно в сдаче нормативов; намотал на черный ус и своему другу капитану Рудому, не так давно разжалованному из майоров за пьяный дебош в офицерской столовой, посоветовал крепкого парня взять к себе в комендантскую роту. Грядет весенняя проверка — авось снова выйдет личный состав на первые места, хотя бы по спортивным показателям — тогда, глядишь, и восстановят друга в звании.

Майор Рудой иногда сильно запивал — службе это, как он думал, не мешало, — рота в периоды его возлияний держала, как могла, свой внутренний порядок, и днем, со стороны, казалось, что все как всегда — молодцеватые, вымуштрованные солдаты, всегда опрятны, сами ходят в караул, охраняют гауптвахту, выставляют дежурных на КПП, часовой у знамени недвижим и не моргает, а рыжие тулупы в валенках и с автоматами неизменно вперевалочку двигаются, хоть часы сверяй, по периметру вдоль колючки. Майор-капитан пьет, в ус не дует — служба идет, хороший солдатский костяк в роте подобрался, сами за порядком следят. Одни Салгалов, Сидоров и Хватов чего стоят — орлы! И теперь еще молодого да румяного Сажина из учебки подогнали — загляденье, а не солдат! Десятки бы таких!

Старослужащим «орлам» тоже хотелось, чтобы молодых было хоть с десяток, а то Сажин после того, как в каптерке растоптали его часы, вдруг вздумал «зашарить» — слушаться перестал и наотрез отказывался выполнять все, что исходило не от офицеров.

Даже Рудому донесли, и «капитан-майор» построил роту в казарме и принялся не то орать, не то лаять, как лают, огрызаясь, побиваемые хлыстом овчарки на спецдрессуре. Ничего было не разобрать, но общий смысл и так понятен: Салгалов — командир отделения, Сажин — подчиненный. Изволь, салага, выполнять, что прикажут!

— Слыхал, что Рудой сказал? — «гармонист» цвел от счастья, от собственной значимости и от предвкушения сержантских лычек.

Сашка сглотнул горечь:

— Поживем — увидим!

— Ну-ну...

Ночью его пинком разбудил Сидор:

— Иди к Салгалу, зовет.

Сажин в полусне поднялся, пошел к салгаловской кровати:

— Чего разбудили?

— Расскажи, Сажин, дедушкам сказку на ночь, мы послушаем... — главарь садистски улыбался, подмигивая кому-то невидимому, кто притаился у Сашки за спиной.

— Не буду.

Последовал тычок в спину. Кто там озорует — Сидор или Хват? Окружили...

В селе к Сажину подойти боялись — дураков побивал, а умные не лезли. А эти — не поймешь, дураки или умные. Что подлецы и трусы — это понятно. Что делать-то?

— Расскажу, — согласился он нехотя. — Сказок я не знаю, расскажу другое...

— Давай, только чтоб интересно было.

— Про свою первую бабу расскажи, — гыгыкнул кто-то из темноты.

С подушек начали поднимать головы и другие солдаты, — послушать, что молодой говорить будет, угадать, чем весь спектакль закончится.

— Нет, про бабу перебетесь, — огрызнулся Сашка, с теплом вспоминая, как они с Веркой Мещеряковой, прячась каждый от своей родни, целовались в старом совхозном саду.

«Не пишет она что-то...»

— Про белого бычка... Или про трех поросенков с комендантской роты... — Сашка продолжал выводить дедов из себя — стало почему-то все равно, что произойдет дальше.

— Ты че сказал, боец? Нюх потерял? — у Салгалова получилось шепотом зловеще завизжать.

И началось...

Сзади его пихнули сапогом под колено и попытались свалить на пол, но Сажин, отмахнувшись, удержался на ногах, устоял. Теперь ясно было, что за спиной Хватов — облапил и давит к полу. Сидор короткими плотными ножками, как копытцами, резво метит Сашке в пах — обозленную мопсовую ряху коротышки хорошо видно в синеватом дежурном освещении. Салгал примеряется, лупит с оттяжкой в грудину. Сажину не больно — он словно в тумане, но немного подташнивает от тех ударов, которые он не успевает отбить. В лицо специально не бьют — чтобы не видно было следов. Хватов держит крепко — не руки, а хомут. Опять исступ-

ленно ннул Сидор. На этот раз в паху загло, тупо прокатилась муть от пояса вверх по пищеводу и горечью вышла в рот. Сашку вырвало. И на этом сразу все кончилось — его отпустили, бросив, как мешок, на пол, все от него тут же отпрыгнули, отпрянули, зашептались:

— Че с ним, че?

— Эй, Сажин?

— Вставай! Кому грю!

— Что делать-то будем? В ПМП его надо.

— Эй!

Сашка в полушоке произносил ругательства, — и не хочешь материться, а научись — и слышал солдатские шепотки...

— Ну что, Амфибия, сладкий ты мой, — сказал майор в санчасти, вколлов Сашке обезболивающее, — наверно, бубенцы тебе подпортили товарищи твои... Звенеть теперь не сможешь. На операцию отправим в Москву — видимо, отслужил ты уже...

Странный был этот начмед — женоподобный, слащавый, не иначе, как «маня-ваня». И тогда, на «санобработке», когда новобранцев в душ отправляли, видать, неспроста маячил, — на голых мужиков, наверно, смотреть любит.

У них в Покровке был один такой, уехал после школы в Саратов, поступил учиться на клоуна в эстрадное училище, потом в Москву подался и выступал в шапито, пока не выгнали. А как вернулся в село, начал к парням приставать — принесет бутылку, напоит и лезет к собутыльнику в штаны. Родился он таким или в цирке совратили, — не разбирались ребята, били смертным боем и посадили циркачу почку и мочевого пузыря. Потом ходил по селу и пускал дух, пока не пропал. Говорили, не то убили его, не то в Балашове при церкви живет. Человека, конечно, жалко, но сам виноват, что к другим лез со своими непотребствами.

А теперь и он, Сашка, пока еще не «маня», но и «ваней» не назовешь с отбитыми-то, как выразился майор, бубенцами — не дай бог, отрежут еще — как он теперь к Верке подойдет. Лучше б сразу убили в казарме, заклевали б до смерти комендантские «орлы».

И недели не отслужил Санек в новой роте — один раз в караул ходил часовым. Была ночь, какие он любил, морозная и ясная. И если б не слепили прожекторы, освещая снег, — утопанный, трамбованный, чищенный широкой деревянной лопатой, — Сашка рассмотрел бы, как густо и ярко вызвездило. Как в Покровке! Ходил вдоль тройной колючки с автоматом, думал, как будет действовать, если нападут на гарнизонные оружейные склады бандиты. Сейчас бандитов много развелось, всем стволы подавай и патроны. А Сашка до учебки и стрелять не умел. Научили здесь в один момент!

Он вспомнил того юного лейтенанта, который не криком, не угрозами, не ором с матюками, а в несколько простых человеческих участливых слов за считанные секунды научил его стрелять. Позже Сашка узнал, что фамилия лейтенанта — Рудаков.

— Успокойся, парень, — мягко советовал Рудаков вжавшемуся в траншейный выступ Сажину. — Послушай, я объясню так, как мне в училище объясняли когда-то: не задерживай дыхание, когда спуск нажимаешь — не выйдет ничего. Вы ж только что бежали, дыхание сбито. Поймай цель, и жми на выдохе, спокойненько, медленней выдыхай. Огонь!

Рядовой выстрелил, короткой очередью. Автомат послушно вздрог-

нул, окутав пространство лязгом — гром, словно Сашке забили в барабанную перепонку четыре гвоздя. Четыре розовых трассера ушли в фиолет снежной дымки, в которой неслышно и быстро упал маленький темный силуэт — мишень.

— Молодец! Молодец! — порадовался Рудаков, как за себя самого. — Дерзай, теперь бей пулеметчика!

По «пулемету» Сашка тоже попал, следом сбил «движку» и, довольный, отрапортовал о завершении стрельбы.

И зачем ему теперь эта меткость?

«Ладно, — подумал Сашка, лежа на медицинской кушетке, — комиссуют, домой вернусь, а там видно будет, что и как».

А начмед, скорее всего, имея в виду Рудого, насвистывал под нос песенку «Эх, капитан-капитан, никогда ты не станешь майором...»

7

В училище домашний мечтательный мальчик Влад Рудаков пошел, что называется, добровольцем и убеждал в этом окружающих с таким жаром, что почти поверил сам, хоть в глубине души и понимал — вранье! Не пойдя он в училище, так призвали б в армию! Свой первый шанс поступить после школы в институт он использовал — поступил и через два месяца из института отчислился по собственному. Решил, что первую свою сессию он сдать не будет, а раз так, то чего тянуть-то? И забрал документы из московского геологоразведочного, заставив всех родных и знакомых согласиться, что это не его стезя, что в институте слишком много математики, а он гуманитарий — вот поработает до весны и тогда спокойно определится и с образованием, и с вузом. Ну, а если провалит и второй шанс, тогда уж в армию. Хоть и была в его рассуждениях доля правды, но на самом деле он бросил учебу от страха. Побоялся и погордился идти на поклон к преподавательнице высшей математики, страшно было представить, что он лично будет извиняться, договариваться, просить допуска на лекции. Боялся он быть взрослым и самостоятельно вести серьезный разговор. А вдруг откажет математичка? Застыдит и отправит на поклон к декану? Ректору? А без лекций сессию ему не сдать, Влад это понимал, в «вышке» он действительно ничего не кумекал. Тем более, считал, что очкастая карга была несправедлива — на той злосчастной скучной лекции болтали все, а его лишь однажды отвлек однокурник какой-то глупой репликой, и Влад, повернувшись к нему, просто отвечал на вопрос, но преподше именно Влад Рудаков попался под горячую руку — не приглянулся ей, видно, его нестриженный затылок.

— Я вас прошу выйти и больше на моих лекциях не появляться. Изучать темы к экзамену будете самостоятельно по учебнику, — сухо вынесла она приговор.

И сначала он решил, что, может быть, женщина сказала стгоряча. И на следующую лекцию пришел как ни в чем не бывало и сел за парту в первый ряд.

— Я, кажется, просила вас не приходить на мои лекции. Я не начну занятий, пока вы не покинете аудиторию.

И она долго неподвижно стояла и указывала ему рукой на дверь. До тех пор, пока он, красный от стыда, смущения, от несправедливости, учиненной вовсе даже не этой училкой, а свершившейся в отношении него где-то в высших сферах, не встал и не вышел.

У Влада вся геологическая романтика, которой была набита его мечтательная голова, после этого случая быстро куда-то делась, и на математику он плюнул. А вместо лекций ходил с третьим курсом в сквер взростель — пить пиво из желтой бочки на колесах, — и он сам себе начинал нравиться, когда пиво растекалось в желудке щекотным теплом, притупляя страхи и тревоги. Навеселе он ничего не боялся, и заботы о завтрашнем дне растворялись в горьковатой янтарной пене. По запаху воблы его новое увлечение распознали родители и, казалось, успели пресечь в зародыше пивной интерес.

От вечного страха перед жизнью, перед усилиями, которые эта жизнь требовала от него, от обиды на бога, не сделавшего его бесстрашным и сильным, он быстро согласился на предложение отца, пообещавшего пристроить отпрыска в московское пограничное училище, где у Рудакова-старшего был блат. До поступления определили парня поработать чертежником в НИИ по соседству с домом и наняли репетиторов. Рад был полковник КГБ Глеб Ильич Рудаков — в сложные перестроечные годы, когда, того и гляди, на хлеб и сахар введут талоны, когда уже чуяли все, что и так бардак, а будет и похлеще — спрятать балованное матерью да бабкой чадо под госприсмотр в училище: «Может, и мужика там из него делают...»

— Это все твои друзья из английской спецшколы, — выговаривал сыну Рудаков-старший. — Сбили они тебя с дороги. Зачем мы с мамой тебя только и устроили! Экспедиции, ружья, гео-ологи! Для этого английский уклон не нужен. Сами-то они в МГУ на экономику поступили, гаденыши хитрозадые. Приспосабливаются к новым веяниям... А тебе будет в училище и экспедиция, и ружье — как ты и хотел!

С троими закадычными приятелями Влад учился в одном классе, вместе ходили в походы, учились тайком курить и выпивать, вместе заранее сдали экзамены по охотничьему минимуму, чтобы, дождавшись совершеннолетия, сразу получить заветный охотбилет, а потом купить ружья. Геологи ходят с ружьями — так было написано в художественных книжках пятидесятых годов, времен производственной романтики, и Влад даже запомнил цитату: «Мы шли по заснеженной тундре, и ветер бросал в наши лица ледяную крупу и насвистывал гимны, играя в стволах карабинов...» И еще в тех книжках геологи умели мужественно пить спирт, и этот немаловажный факт, наряду с алкогольными навыками полковника-отца, стал для молодого человека атрибутом мужской доблести. Тундра, оружие, спирт, — и никакая девушка не устоит перед бывалым северным волком! Но все это в будущем, когда они заматереют, уйдут из-под родительского гнета во взрослую жизнь.

Сманила Влада на подготовительные курсы в геологоразведочный именно его школьная компания, но все трое к выпускному классу предали и мечту, и друга — переехали в математическую школу и намостились в университет. Деляги...

К моменту Владава распределения Глеб Ильич угодил в опалу и слишком хорошо пристроить молодого лейтенанта Рудакова не сумел.

— Хоть не в горячую точку поедешь — и то слава богу! Место тихое, финские рубежи, так сказать, но это трамплин для прыжка на самый верх! Оттуда большинство офицеров в Москву с повышением едут. Вот зарекомендуешь себя за пару-тройку лет...

Так Влад оказался в штабе Алакурттинского гарнизона и, мечтая о службе лихой и в меру опасной, на которой мог бы и послужить Родине,

и отполить тщеславие, был сильно разочарован реальностью, не сулящей ему ничего, кроме участи мелкого порученца при штабе. И мысли посещали безрадостные.

«Подежурить на стрельбище, провести занятие по строевой с новобранцами, побегать из здания в здание с документами — как будто толковых сержантов на эту будничную мелочевку не найти!

Штаб — комендатура, комендатура — штаб. Он и на линейных заставах толком не бывал еще — офицер-пограничник, называется!

А все эти гарнизонные будни — маета одна и стыд; вот недавно в комендантской роте старослужащий молодого покалечил — пацана аж в Москву в госпиталь на операцию отправили. Вертолет из штаба округа вызывали. Подполковник Тарасов весь личный состав отряда на плацу построил, изувера этого, рядового Сидорова, выставил всем на обозрение и, визжа, объявил ему двадцать суток гауптвахты. И в этом служба? Слишком уж тихая эта финская граница. За тридцать лет ни одного перехода с той стороны. Было бы здесь погорячее, поопаснее — и солдаты не мучались бы дурью по ночам, и офицеры меньше бы пьянствовали».

Сам Рудаков выпивать побаивался — знал, что может увлечься этим занятием и влипнуть в историю. Было пару раз в училище, что если б не папа, выгнали бы Влада за пьянку как щенка. А так — наряды вне очереди, выговоры, лишение увольнения да и все — спасал его отец. А здесь, на далеком Кольском полуострове, неизвестно еще, спасет ли...

С подобными мыслями чисто выбритый и подтянутый, в вычищенной новой шинели, лейтенант поспешил из офицерской общаги, в которой делил комнату с прапорщиком из роты связи, в штаб на построение. Замначштаба Тарасов, насупленный, хмурый, полчаса клял демократов и коммунистов, обличал новый строй вместе со старым и, лишь в воинском сословии найдя оплот здравомыслия, ополчился к концу своей речи на неуставные взаимоотношения, а заодно — на комитет солдатских матерей как на другую крайность. Потом начал ставить задачи. Рудакову, как всегда, ничего достойного и боевого не поручили, хотя задание на этот раз было приятное — съездить в Москву. «Не иначе, папа соскучился, может, даже в округ позвонил, и Тарасову предложили разнообразить лейтенантские будни командировкой. Или самому Тарасову от отца что понадобилось...» — подумал Влад, ожидая подробностей.

Почти так и оказалось — надо было отвезти кое-какие документы, передать лично пару писем и попутно забрать из госпиталя травмированного рядового Сажина, у которого не обнаружили никакого разрыва причинной железы, а так, ушиб — продолжать службу может, стало быть. «Откосить, видно, хотел».

— Привезешь, и куда-нибудь его с глаз долой... — махнул рукой Тарасов, — и второго, который под арестом, тоже... О, на усиление их обоих, на таджикско-афганскую. Чем нормальных солдат отдавать, лучше эти пусть едут...

Группа пограничных войск России в Таджикистане к тому времени существовала как полноценное соединение уже примерно год, но в последние месяцы в этой южной республике СНГ обострилась гражданская война. Нападали на пограннаряды в основном местные боевики, но кто бы дал гарантию, что через границу не собираются прорваться и моджахеды из Афганистана? И во всех округах неохотно и исподволь собирали команды для отправки на юг на усиление.

Лейтеху рядовой Сажин оставил спящим в поезде. Прихватил его почти пустую сумку, в которой лежал только спортивный костюм, мыло с одеколоном, носки и белые трусы с кармашком — на бабские похожи...

Военного билета в ней не оказалось. И китель обшмонал у Рудакова, и шинель — и не нашел документ. «Ну и пес с ним, с военным билетом».

Снялся Сашка с поезда в северной столице, на Московском вокзале. Из рабочего тамбура уже гражданским вышел: ни один патруль не догадался бы, что полчаса назад в вагонном туалете солдат-пограничник вторых переодевался — напяливал на себя свитер, штаны, куртку бело-синюю на молнии — ну и что, что велико все, зато «аидас»! Свою форму армейскую пришлось в лейтехину сумку заталкивать — не оставлять же в вагоне; как чуял, что еще пригодится амуниция.

На Московском вокзале пристал к Сашке один цыган — никуда от этого племени не денешься, везде обитают — и у них в селе, и вот в Питере тоже кочевье устраивают.

— Есть, — говорит, — у меня картошка сырая, давай сварим.

Смеется Сажин:

— Где ж мы ее варить-то будем?

— А костер разведем.

— На вокзале? — спрашивает Санек.

Задумался цыган:

— Да, — говорит, — здесь не выйдет. Ладно, в вагоне в топке испеку.

А сам на бывшую лейтехину, а теперь уже на Сашкину сумку зыркает, будто украсть мылится.

— Куда едешь? — спрашивает рядовой.

— А-а... В Астрахань мы едем. А ты?

— Мне в Саратовскую область надо. Но денег нет на билет, — лукавить в армии хорошо научился солдат, чувствует, как от лжи зашевелились у него в белых трусах с кармашком заныканные лейтенантские командировочные. Хватило бы на билет до Саратова, но около касс не только военный патруль терся, но и милицкий наряд, поэтому не пошел Сашка покупать на вокзале билет, рисковать не стал. А теперь уже забоялся, что прозорливые цыгане про его заначку ворованную прознают.

— А поезд наш как раз через Саратов идет, — поведал цыган.

— А что за поезд?

— Санкт-Петербург — Астрахань. Через час посадку должны объявить.

И тут Сашка загорелся идеей и решил все карты свои открыть. Ну, почти все. А начал с того, что расстегнул сумку и, таясь от вокзального народа, показал свой багаж:

— Выбирай, что хочешь, хоть все бери, только проведи меня в свой поезд. В самоволке я, домой очень надо.

— Ай-ай, плохо, — цыган головой покачал. — Плохо, что из армии убежал, искать будут, в тюрьму посадят, а шинель — это хорошо, теплая — укрываться хорошо. И форма красивая, новая. Ладно, пойдем, с семьей познакомлю.

Семья оказалась большая — и на семнадцать человек, не считая совсем младенцев, имелось десять билетов в общий вагон. Дали Сажину грязный тюк, и платок с малым ребятенком повесили на шею. Табор взял вагон штурмом, и пока ходили, крутились, гадали, торговали, то прячась

от проводницы между вагонами, то подсовывая ей по второму-третьему разу тот же билет, а не удавалось — так червонцы с сотенками, — шел для Сашки будто лихорадочный обратный отсчет: опять Бологое, Тверь, а после Москвы вдруг горячка спала, сердце успокоилось, — все, возврата нет, едет он домой, — и проспал всю следующую ночь под стук колес на грязном полу под столиком, заваленный тряпками и одеялами. Утром его вокзальный знакомый напялил зеленую погранцовскую фуражку — пошел по составу и где-то на полустанке обменял ее на дюжину прогорклых пирожков.

— На, — подает Сашке промасленный бумажный кулек, — покушай в Саратове.

На прощание в опустевшую сумку ему насыпали так и не сваренной картошки из мешка. А деньги из белых трусов с кармашком, как оказалось, пропали.

От вокзала пригородный автобус Саратов-Балашов довез парня до Семеновского поворота, откуда он пешком направился по убогой дороге, бывшей когда-то великим соляным трактом, в родное село.

9

— Так вот, дед, — продолжает рассказывать Сашка, — думал-то я, что точно комиссуют. Знаешь, как я обрадовался...

— Чему, полоумный? — Андрей Петрович смотрит на внука, будто не узнает — осерчал, значит. — Что, как заяц без яиц, да лишь бы в армии не служить? Ты на самом деле дурак или прикидываешься? Ты хоть представляешь, как бы ты дальше жил, если б тебе и вправду хозяйство в госпитале отрезали? — Ни бабы, ни детей, заклевали бы тебя здесь. Народ — он злой, языкастый, темный. Стадо — затопчут, если ты не такой, как они. Бога благодари, что не влупил тебе этот гамнюк по-сильней, за счастье сочти, что еще служить можешь! А ты в бега! Что теперь будет-то?

Сашка слушает деда понуро, опустив, как девица, ресницы, — молчит, а каждое стариково слово поднимает в душе тряскую волну тревоги. «Что делать? Куда дальше? Дисбат? В гарнизоне говорили, что дисбат — гораздо хуже тюрьмы... Натворить, пока не поймали, еще чего-нибудь, может, тогда в тюрьму посадят? Боязно».

Андрей Петрович умолк, сидит на табуретке, согнувшись, локти на коленках, — то ли набрякшие жилы на руках рассматривает, то ли сквозь руки смотрит в пол. Думает, вспоминает, печалится? Не вмешает ему Сашка. Сколько слушал от деда рассказов о жизни, а в шкуре его не бывал, не прочувствовал ничего, не понимает. Другое время настало — труднее ли, проще — кто знает... Легковесное, животное, бессовестное время. Шкурное. Человека в человеке видеть перестали. Раньше человек трудовой был и ратный — созидатель, воин. Теперь кто? Потребитель... и он же товар, да и не товар даже — ярлык. Красивый ярлык, яркий, модных тонов — купят со всем дерьмом вместе, а колья невзрачный, серый, да, не дай бог, больной, грешный — в грязь втопчут, на вторсырье, под нож. Не важно, что алмаз божий внутри, важно, чтоб ярлык блестел. Скотское время, антихристово...

— Помирать пора, не могу я... — говорит дед, замаргивая слезу.

Сашка молчит. А Андрею Петровичу кажется, что молчит вместе с внуком все молодое поколение. Не сейчас его потеряли, не два-три года

назад. Нет, раньше молодежь потерялась, куда как раньше — все для них, чтоб жили лучше, слаще, чтоб все им легче доставалось, а им уже ничего и не хочется — ни работать, ни служить, скучно им жить, что ли...

— Дед, не надо, — промямлил Сашка, — не плачь.

Тихо вышел в сени, зашнуровал парадные ботинки. Дед Андрей не спрашивал, куда внук собрался, и провожать не стал.

Муромский пруд. Ветлы облепили его подковой, покоится в безветрии тяжелая темная вода. Вечереет уже — долго просидели за разговором старый да малый. Сашке холодно. Дед так и не вышел из дома, горит оранжевым квадратиком окошко, у которого старик, наверно, так и сидит на самодельной табуретке — вместе строгаги много лет назад. Далеко за ветлами со стороны дороги — голоса. К Муромке идут люди — двое. «Мать, — узнает голос Сашка, — и, похоже, Петрунин».

Сажину больше не страшно — словно дед только что отдал ему всю накопленную за жизнь... что? Веру, любовь, силу?

— Мама, — кричит Сашка в наступающие сумерки.

— Сашенька! Сынок! — доносится из-за ближних ветел родной голос.

Андрея Петровича положили с инсультом в больницу только наутро, когда участковый прислал трактор с прицепом — другой транспорт бы не прошел. Дед улыбался внуку, что-то показывал негнущимися пальцами, что мама траковала как знак любить друг друга, а Сашка — как наказ ехать в часть и виниться, и если уж кривая выведет в дисбат, то так тому и быть. О том же толковал и Петрунин, отнесшийся к дезертиру скорее с сочувствием, чем с осуждением.

«Уж не живет ли с ним мать?» — подумалось Сажину, пока хлопотали возле деда.

— Константин Петрович, а я думал, вы меня сразу в наручники и в Балашов, в кутузку...

— Да я, Саня, прочитал тут, — начал участковый с заминкой, — в одной книжке... церковной, что важно, чтобы человек сам раскаялся. И кому больше прощено, тот больше любит. Правда ведь?

Сашка задумался, готов ли он простить Сидора, Салгалова, Хвата, простит ли его самого лейтенант Рудаков да тот же подполковник Тарасов, и внятно себе ответить не смог.

— В религию ударились, Константин Петрович? Книжки такие читаете...

— Не в религию, Саня, скорее в совесть. На пенсию пора.

— Как на пенсию, так сразу в совесть? — едко вырвалось у Сажина.

— Ну, что вот ты щетинишься, как ежик, а? Клава, почему твой сынуля такой непонятливый? Что ж он в страхах своих живет, довериться никому не может.

— После того быка еще, — тихо сказала мама. — А потом вся история с Игнатом...

Осеклась — дед Андрей жалобно что-то промычал.

— Скорей, скорей, поднимаем в прицеп, — скомандовал Петрунин, пока трактор, свистя черным дымом, рокотал в колее.

— Сынок, — мама постаралась вложить в свои слова всю человеческую любовь, — что бы ни произошло, как бы трудно ни было, пожалуйста, держись, не падай духом.

Сашка улыбнулся и кивнул.

Верка Мещерякова плакала, размазывая по лицу тушь с помадой. Лысый, пахнувший хуже навоза, старый мужик был у нее за минувший день уже шестым.

— Чего рыдаем, — злобно прошипел клиент, застегивая на брюках ремень, — рыдать раньше надо было, когда из деревни уезжала за хорошей жизнью.

Верка всхлипнула, вытерла черные слезы и заскулила сильнее, жалобнее. Заднее сиденье старого «опеля», оборудованного под придорожный дом терпимости, уже продавилось, истерлось и покрылось слоями несмываемой человеческой грязи. Мимо, брызгая слякотной снеговой кашей, мчались фуры — спешили наполнить столицу новыми красивыми товарами. Начался мир бутиков, супермаркетов, радужных мещанских упаковок, фантиков, блесток. Под рев моторов, под сигналы таксистов, под синие всполохи неотложек Веркой торговали оптом и в розницу уже полтора года. Жора Молдаван — ее сутенер и владелец «опеля» — сначала, как только она появилась на трассе, на оживленном Ленинградском шоссе близ Химок, сдавал ее покупателям побогаче на сутки — как «свежак», а потом балашовская девчонка от рабской жизни осунулась, вмиг подурнев так, что и косметикой не спасешь, и два ее золотые зуба добавляли уже к ее виду не изюминку, не юное озорство, а прожженную вульгарность, пугавшую и без того трусоватую клиентуру.

Жора сменил рыночную тактику — ставил машину на обочину и, прямо здесь, на выдавшем виды заднем сиденье, Верку предлагал по дешевке на час кому ни попадя.

Чтобы не было так гадко и тяжело, девушка во время «сеансов» старалась вспоминать что-нибудь приятное, родное из прежней жизни, и однажды настолько ярко всплыла в ее памяти первая чистая, как у Ромео с Джульеттой, любовь, что она несколько раз вслух произнесла имя «Сашенька». Клиент попался садист, разозлился за чужое имя и в гневе прижег девку окурком, — она кричала, и Жорина «крыша», химкинские менты, не стесняясь оживленного шоссе, превратили отморозка в кусок фарша. А Верка опять плакала — теперь ей было жалко этого человека. За исполненные охранные услуги менты взяли Верочку в отделение и всю ночь поочередно веселились с ней всем личным составом. Она чуть не повесилась утром, но Жора, следивший за каждым ее шагом, грубо пресек суицид и надавал профессиональных, не портящих кожу тумачков. Ни убежать, ни спрятаться, даже ни умереть. За что ей это все? Память о Сашке, простоватом покровском пареньке, которого она, наверно, любила первой глупой любовью, с которым она встречалась украдкой, чтобы не гневить своего деда Гаврила, осталась где-то в предрассветном тумане над Еланкой, в старом совхозном саду среди яблонь, под стенами разрушенной, обросшей полынью сельской церкви. Потом он ушел в армию. А у нее появился Рустам. Раньше Рустам ездил на грузовике и скупал у частников картошку для перепродажи, а потом вдруг открыл в Балашове магазин модной женской одежды, и Верку, юную дурочку, позвал к себе работать продавцом. Брату Сереге и их с Веркой матери-пьянчужке было все равно, а дед внучку даже уговаривал:

— Езжай, там же деньги, в люди выбьешься, городской фифой станешь, нам поможешь деньгами...

Поехала, месяц отработала, с Рустамом начала жить, а потом...

— Поедем со мной в Москву за товаром, — предложил сожитель.

Она обрадовалась, цвела вся, пока на белой «Волге» с багажником на крыше десять часов мчались по гладкой бетонке в столицу. Когда проезжали мичуринские сады, екнуло сердце, показалось на миг, что не надо ей туда, куда везет ее горячий южный мужчина, у которого до конца не поймешь, что на уме. Это далеко не Саня, который весь до простого, до неинтересного нараспашку. Этот таит в себе что-то опасное и притягательное, терпкое, жгучее. Екнуло сердце и успокоилось: впереди Москва, новые впечатления, сладкая жизнь.

Она не подозревала, что Рустам продаст ее бандиту Жоре, как продают тюк с залежалым барахлом, возьмет за нее денег, сколько снисходительно отстегнут, и умчит навсегда...

Чтобы новая рабыня не рыпалась, Молдован демонстративно, у нее на глазах, сжег ее паспорт.

— Ты теперь никто, шлюха... Поняла?

11

«Больше, чем полгода, прошло, и ни весточки, ни письма от Верки, — думал ефрейтор Сажин, ожидая в солдатской «приезжке» приказа их команде выдвигаться в Таджикистан. — Вышла, наверно, замуж... Ну и ладно, счастья ей. Пусть у нее все хорошо сложится».

У самого Сашки, как он считал, все сложилось неплохо. Когда после побега он вернулся в часть, с ним долго беседовал особист — по-человечески, с пониманием, методично выяснял, что же произошло в роте, в госпитале, в поезде. Сашка рассказал все, как было, до мелочей, свои пятнадцать суток губы все-таки получил — и когда его вели по подвальному коридору вдоль камер с нарами, мельком увидел печального, потускневшего и исхудавшего Сидорова. Лейтенант Рудаков, разжалованный для начала в младшие лейтенанты, говорили, сидел под домашним арестом в офицерской общаге, уверенный в том, что все свои командировочные пропил и растерял в поезде.

— Амфибия! — тепло приветствовал Сажина начмед в санчасти, куда Сашку, хоть и дезертира, но в то же время и жертву неуставных взаимоотношений, временно захихнули после «губы». — А оставайся в ПМП до дембеля, полы будешь мыть, по кухне дежурить. Каши всегда навалом! А то осунулся, щеки побледнели.

— Не-е, тарищ майор, мне бы на заставу...

— Да кому ты там нужен, подумай...

Сашка пожал плечами.

А через неделю его вызвал Тарасов.

— Сажин, тебе на выбор один вариант: приказываю собрать в комендантской роте все, что осталось от твоего обмундирования, если не осталось — пусть рвань выдают. Едете вместе с Сидоровым на усиление на таджикско-афганскую границу. Читайте, что вам обоим крупно повезло, — благодари мать за то, что покрыла твое воровство, и ты не в дисбате. А то Рудаков даже удивился, что ему из Саратовской области деньги переводом прислали... Не заслужил ты такого везения, Сажин! И Сидоров не заслужил. Шагом марш!

В Алакуртти стремительно прибывал день: прохладное солнце к ночи падало вниз, но, едва дойдя до горизонта, отскакивая от него, будто мячик от ракетки, снова взмывало в небо. В «приезжке» с разных застав,

рот, комедантур собралось уже человек двадцать солдат — разных призывов, вперемешку, в основном провинившиеся или туповатые, — все, кого подполковник Тарасов определял коротким злым словом «чмо». Сажин был рад увидеть в рядах команды своего давнего знакомого Виталика Лакшу, вновь отрастившего усы и челку. Земляка, как выяснилось, выгнали из сержантской школы за то, что стырил у командира отделения пачку чая.

— Помнишь Спонсора? — спросил Виталий. — Толстый, мордастый был, когда призывались еще... Так вот, видел вчера его — килограмм тридцать сбросил, не узнать. Вот как армия людей меняет!

В казарму с вещемешками зашла еще одна группа приговоренных к южной границе. Среди вошедших стоял понурый Сидоров — затравленно глянул на Сашку и отвел взор.

— Меняет. Еще как... — тихо отозвался Сажин.

А в это время на далеком горном перевале тоже собирались люди. «Воины аллаха» — почему-то называли себя некоторые из них, особенно те, кто прятал в карманах пачки долларов, полученные от хитрых инструкторов в качестве аванса. Говорили в основном на фарси и арабском, кто-то молился, кто-то считал деньги, большинство изучали оружие. Четыре миномета, пулемет, РПГ, ящики с патронами. Все надо тащить на себе, шум моторов русские услышат, и тогда все намарку. Да и дорог там почти нет — не подьедешь. А задание у них наполовину проплачено — отрядом в двести человек уничтожить заставу, вырезать пограничников, укрепиться самим. Это поднимет дух таджикских братьев. Непременно поднимет. Так думали моджахеды, пересчитывая боеприпасы для минометов... «Русские любят кушать дыни — на здоровье: получают дыни железные, закидаем, каждому засунем по одной в глотку». А пока надо ждать. Еще не все люди в сборе, и оружия еще маловато...

* * *

Клавдия Сажина вернулась с кладбища. Прибиралась на могилах, две из которых были довольно свежими. Муж, сын, свекор — все покоятся в одной оградке. Люди говорят, что это удобно — меньше ходить. Еще говорят, что она, Клавдия, обезумела от горя. Это неправда, она в своем уме, просто однажды ей приснилось, что Сашенька живой, и с ним можно говорить и писать ему письма. А она в свой сон поверила. Что безумного в том, что человек верит?

Зашла в дом и долго искала в ящике буфета тонкую тетрадку в линейку. Вот он, двойной листок. Сейчас она найдет ручку, которая пишет, и изложит на бумаге все покровские новости:

«Сашенька, милый мой сыночек, опять приснилось, что ты живой, поэтому пишу тебе письмо.

Как там тебе на небе живет, спрашивать не буду. Вы же, кто ушел, оттуда никогда не отвечает. Лучше расскажу тебе, что у нас нового.

Перво-наперво, может быть, тебя порадую: приезжал недавно офицер из военкомата, торжественно мне вручил твой орден «За личное мужество» — наградили тебя, сыночек, посмертно. Сказал, что ты герой и совершил подвиг, когда на вашу заставу напали двести бан-

дитов и забрасывали вас минами. Сказал, что ты закрыл собой земляка — парня из Саратова. Он живой, наверно, но ни разу к тебе на могилку не приезжал. Во всяком случае, я не видела. После того как отдали мне орден, злые языки в селе сразу заткнулись. А то чуть что, так про тебя: дезертир да вор.

Ты когда уехал, дедушка Андрияша долго не протянул — умер в больнице через месяц. Деньги лейтенанту мы с тобой вернули — я корову продала, она мне одной ни к чему теперь. Но лейтенант этот приезжал и деньги привез обратно. Он рассказывал, что они с отцом богатые — больше не служат, а торгуют теперь нефтью. Предлагал еще деньги, тебе на памятник на могилку, но я не взяла — неудобно как-то. Что еще? Бабу Нюру внуки забрали к себе в Балашов. Старый Гаврил ездил в Москву и нашел на площади, где у них три вокзала, свою внучку Верку — избитую, пьяную и в прыщах от какой-то болезни. Кто-то выдернул ей золотые коронки. И, самое страшное, ехать с дедом домой она отказалась. Костя Петрунин сказал, что не поехала от страха, боялась, что «заклюют» в селе. Так он сказал. А мне непонятно — что ж мы здесь, звери, что ли, какие?

Роман Палыч Терещенко — ты у него подпаском когда-то работал — уехал насовсем на Украину, и теперь в Самодуровке никого нет, а Сергей Мещеряков растаскивает дома на доски, возит на машине и продает. Он кашлять стал последнее время — в смысле, Сергей. Говорит, что врачи давно уже велели ему есть собачье сало — помогает от кашля.

Петрунин вышел на пенсию и затеялся восстанавливать нашу церковь, но денег ни у кого на это нет, и над ним все смеются.

Бабушка Васи Мутного тоже умерла, а Вася наловил и принес мне карасиков. Я купила пять штук, пожарила и отнесла тебе на могилку. Может, ты покушаешь. Красный карась вкусный.

Вот и все новости, сыночек.

Твоя мама.
13 июля 1994 г.»

